

С. Б. АДОНЫЕВА

**ОПЫТ «ПОЛЯ» В ДНЕВНИКАХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РУССКОГО СЕВЕРА:
ЗАПИСИ НАТАЛЬИ ПАВЛОВНЫ КОЛПАКОВОЙ**

*«Север будет еще долго служить человечеству
местом отдыха и счастливого созерцания»*

*(Евдокимов А. А. Североведение
и его задачи. Архангельск, 1928¹)*

Чтение полевых дневников исследователей фольклора и традиционной культуры — увлекательное занятие, поскольку полевые записи всегда больше, чем просто дневник. Эти тексты работают как повествовательная литература. Ю. М. Лотман полагал, что событием повествовательного текста служит перемещение персонажа через границу «семантического поля»: «место действий — это не только описания пейзажа или декоративного фона, — отмечал ученый. — Весь пространственный континуум текста <...> складывается в некоторый топос. <...> Структура топоса выступает в качестве языка для выражения других, непространственных отношений»². Пространство, которое становится предметом описания исследователя, открывает «непространственные» смысловые отношения, сам же исследователь и есть герой, пересекающий его границы. Русский Север, в том виде, в котором он предстает перед читателем научного травелога, несомненно, один из таких топосов.

Один из основоположников теории гештальта, Курт Левин, отмечал: «Человек живёт в «психологическом поле» окружающих его предметов. Каждый предмет имеет для него свою валент-

¹ См.: Основатель Североведения Андрей Андреевич Евдокимов. Библиографический указатель (1915—1937). / Сост. Ю. Дойков. Архангельск, 2005.

² Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 159.

ность — своего рода энергетический заряд, вызывающий у человека специфическое напряжение, требующее разрядки. Поведение человека делится на волевое и полевое. Волевое — вызвано внутренними потребностями и мотивами, а полевое — влиянием внешних объектов»³. Исследуемое фольклористом пространство Русского Севера наполнено предметами, малое число «валентностей» которых известно путешественникам. Вне их опыта быт и обычай людей и мест, тела путешественников привыкли к иным телесным техникам, их жизненные миры, несмотря на кажущуюся близость языка, существенно отличаются от того жизненного мира, с которым они соприкасаются в дороге. И поэтому открывающееся пространство становится активной силой, во-первых, обнаруживающей структуры внутреннего опыта наблюдателей и, во-вторых, изменяющей их. Подобно героям квестов, исследователи Русского Севера обретают не только искомую ценность — фольклорные записи, например. Поле меняет их самих. Формы их опыта.

Отправляясь в экспедицию, исследователи обычно исходят из имеющейся у них на руках на тот момент «ментальной карты». У них есть определенные ожидания и установки, явно проговариваемые или предписанные той ролью, которая отведена им научным заданием «командирующей стороны»: я (субъект) исследую определенный предмет (объект). Наталья Павловна Колпакова занималась исследованием состояния традиционного фольклора на севернорусских территориях в течение многих лет. Делало ее героем собственного повествования именно поле: пространство меняло установку исследователя, опрокидывало его в его собственный новый опыт. Позже, когда полевые записи становились основой для готовящегося к изданию эссе, Колпакова изменяла градиент субъективности: то открыто принимая на себя роль субъективного присутствия и переживания, то отстраняясь до позиции наблюдателя — публициста, описывающего и дающего оценку, но не открывающегося лично. Я попробую показать эту пластику на нескольких примерах из ее рукописей и публикаций. Для этого я использую следующие источники. Публикации: Колпакова Н. П. У золотых родников (Записки фольклориста). Л.: Наука, 1975 (далее в тексте — «Записки»). Колпакова Н. П. За последними северными былинами. Из путевого дневника фольклорной экспедиции института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР 1956 года // Из истории русской фольклористики. Вып. 3. Л.: Наука, 1990. С. 121—135 (далее в тексте — «Дневник»). Колпакова Н. П. Ветер с севера. Л.: Издательство «Прибой», 1931 далее в тек-

³ Зейгарник Б. В. Теория личности Курта Левина. М.: Изд-во Московского Университета, 1981. С. 18.

сте — «Ветер с севера»). Эта работа тогда так и не увидела свет, но в секторе фольклора Российского Института Истории Искусств хранятся гранки книги с авторскими исправлениями. Большая часть книги — с сокращениями и дополнениями — была включена Н. П. Колпаковой в книгу «У золотых родников». Я работала с гранками в 2009—2010 годах, на ту пору сектор фольклора Российского Института Истории Искусств, в котором я тогда работала, планировал новое издание двух сборников «Крестьянского искусства» (1927 и 1928 гг.), предполагалось делать комментарии. Приведу те фрагменты из этой несостоявшейся публикации, от которых Наталья Павловна позже отказалась, но которые имеют прямое отношение к нашей теме — исследователь и его поле.

Начнем рассмотрение нашей темы с описания рукописей Колпаковой: ее рукописный фонд хранится в Кабинете рукописей Российского Института Истории Искусств.⁴

Машинописный текст 1928 года предварен следующим ироничным заголовком: «Путешествие пейзажной секции Государственного института истории искусств по святым местам. Часть 3. Мезень. 1928. Записки секретаря, составлявшиеся на самом месте происшествий». В рукописном варианте так: «Путешествие Пейзажной Секции Г.И.И.И. по святым местам или тише едешь, дальше будешь». Наталье Павловне Колпаковой в экспедиции 1928 года 26 лет. На ту пору автор путевых заметок — внимательная и веселая девушка, отправившаяся вместе с коллегами на «экскурсию» изучать «пейзан». Замечания похожи на заметки досужего путешественника. Так можно написать о вояже в другую страну и о жизни ее аборигенов: «Тема жизни тут не только *andante* но почти *adagio*. Это хорошо: характеры ровные безо всяких наших городских истерик» (№ 17. Л. 21).

Некоторое время группа ученых работала в селе Возгора и соседних деревнях Родома и Пустынь. Это — последние русские деревни в среднем течении Мезени, выше по течению живут комьяки. Н. П. Колпакова записывает историю, которую рассказывали ее коллеги после того, как съездили к «зырянам» в Латьюгу. Это была история о том, что старый зырянин, с которым им удалось пообщаться, уверен, что камни и земля растут. «Он собирается закопать камень в землю и через некоторое время выкопать и посмотреть, много ли прибавилось. Любопытная психология. Совершенный дикарь!» (№ 17. Л. 34).

⁴ РИИИ, кабинет рукописей. Н. П. Колпакова. Фонд 112. Оп. 2. Путевые дневники. Мезень 1928—1958. 1928 № 17. Печора № 16. Ниже в тексте даются номер папки и указание листа или страницы. Другая часть рукописного наследия Колпаковой хранится в Отделе Рукописей ИРЛИ РАН: Колл. 216 и Колл. 276в

Ирония в начале ее исследовательского пути соседствует с оценкой, и та и другая направлены на объект исследования. Субъект, исследователь — немного экскурсант, сторонний наблюдатель. В более поздних записях ирония сохраняется, но она направлена на жизнь, которую исследователь не просто наблюдает, он в ней участвует, ирония направлена на себя:

Печора, 1956 г.: «Усть-Цильма. Вокруг старых изб и журавлей выросла невиданная прежде новизна. Появился Раймаг, лавки, ларьки, много магазинов с городскими товарами. Правда, попасть в эти места поначалу трудно. Усть-цилемская торговая сеть похожа на календарь одного любителя ботаника, посадившего в своем саду цветы, которые благоухали в разное время <...>. Открыто сельпо — закрыт Раймаг, открывается Раймаг — закрывается книжная лавка; закрывается мануфактурный магазин — начинают благоухать столовая и рыбный ларек <...>. И поэтому мы сегодня почти никуда не попали <...>» (№ 16, с. 12).

Мезень 1958 г.: «Путь наш проходит на редкость тихо и благополучно. Говорят, у каких-то жителей в тихом океане, когда моряки выходят в море на промысел, все население, преимущественно жрецы, лежат на земле, не шевелясь, в порядке продуцирующей магии, символизируя своим спокойствием тишину и неподвижность морских волн, на которых качаются пироги отплывающих. Вероятно со вчерашнего дня у нас в институте (ИРЛИ) и канцелярия, и бухгалтерия (наши верховные жрецы) тоже лежат, распластавшись на животах в Большом зале... Нас даже не колышет. Плыдем как по пруду». (№ 17, с. 116).

В описании бытовых особенностей деревенской жизни Колпакова деликатна, но также иронична:

Рогачево, 1958: «Постели чистые, посуда тоже. Но умывание и многое другое — такое же, какое было вероятно организовано когда-то по типовому стандартному проекту во всех деревнях дохристианской Руси и затем, пройдя насквозь всю русскую историю, в первозданных формах дожило до современной русской деревни». (№ 16, с. 22).

О пос. Мезень: «На центральной магистрали «Советский проспект» стоят самые разнообразные и разнокалиберные здания — от древних деревянных изб времен новгородских ушкуйников до «Дома культуры», кино и других палаток новейшего типа, при взгляде на которые ушкуйники, конечно, вспоминаются с удвоенной нежностью». (№ 16, с. 290).

Мезень 1958: «Раньше по всей Мезени было много часовен и крестов на угорах. В 1930-х годах все это усиленно уничтожалось. Но, как ни странно, за последнее время начали снова восстанавливать. Так, женщины на палубе рассказывали мне, что немного выше Юромы в лесу заново поставлены два больших креста. Некая бабка Паранька из Кельчемгоры видела ве-

щий сон, повелевавший ей восстановить поруганную святыню. Бабка Паранька купила досок и своим иждивением соорудила первый крест, а рядом с ним как-то сам собой вырос и второй. Вскоре оба оказались обвешены, как и прежде, пеленами и иконами и туда опять-таки как прежде стали время от времени уединяться молельщицы. Все было встарь, все повторится снова» (№ 17. С. 262).

Последняя фраза этой заметки (в рукописи она никак не выделена) — точная цитата из стихотворения Осипа Мандельштама *Tristia* (1918):

О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.⁵

В 1958 году имя Мандельштама — все еще под запретом, но дело не только в этом. В рассказе о Параньке, которая, несмотря на безбожные и голодные годы, восстановила крест «своим иждивением», открывается именно та сторона жизни, о которой писал Мандельштам:

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.⁶

Молельщицы уходят к крестам и относят туда свои обетные пелены: они восстановили и длят свои отношения с Богом и метафизическим миром, которые, казалось бы, ушли полностью в прошлое. В статье «Слово и культура» Мандельштам писал: «Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова, и волосы, и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, глубокая радость повторенья охватывает его, головокружительная радость».⁷

⁵ Текст впервые был опубликован в журнале «Гермес» (Киев) в 1919 году, тогда же без названия и без даты в журнале «Пути творчества» (Харьков), 1919, № 4. С. 11.

⁶ Там же. С. 74.

⁷ Мандельштам О. Слово и культура: Статьи. М.: Советский писатель, 1987. С. 41.

За историей о бабке Параньке лежит радость узнавания: обнаруженное повторение свидетельствует о причастности происходящего к глубинному, неотменяемому, вечному порядку жизни.

В записях 1958 г. Колпакова описывает свое путешествие вверх по реке Вашке, притоку Мезени. В 2010 году мы проделали этот путь, и поэтому, читая ее записи, я одновременно узнавала описываемое пространство и не узнавала его, поскольку опыт встреч Н. П. Колпаковой не соответствовал моему опыту: наших собеседников и собеседниц кроткими назвать сложно, а их память уже не была отягчена старинами и духовными стихами. О деревне Олема Колпакова пишет: «Мы попали к чудесным старикам — “Саше Максиму” и его жене. Удивительные лица, удивительные глаза бывают у крестьян на Севере: бесконечно добрые, кроткие и в то же время возбуждающие чувство жалости, участия и почти боли, точно эта доброта и кротость явилась в результате больших и очень тяжелых переживаний не одного, а многих поколений» (№ 17, с. 135).

Чуть ниже она пишет о том, что, очевидно, узнавала из рассказов своих информантов. Под приверженностью старине следует понимать и старообрядчество, и шире, приверженность фольклорной традиции в целом: «По всей Мезени и Вашке в 1930-х годах очень сурово прокатилась волна запрета всякой старины: были сломаны старые часовни и церкви, за приверженность к старине — пение былин и духовных стихов виновные подвергались репрессиям, люди со страху жгли целыми кострами старые книги. Особенно боялись петь старины, т.е. былины, так как в них поминались такие одиозные личности как «князя-бояра», «князь Владимир» и другие подобные персонажи.

Можно зажать мезенцу рот, заставить умолкнуть былины о древних богатырях. Но нельзя убить в северном человеке самый дух богатырства <...>.

Дед нашего нынешнего приятеля <...> за один день выкашивал 12 возов сена, а сестра этого деда, будучи в девицах, могла одним духом, опираясь на шест, перескочить подряд через 100 копён кошенины, каждая вышиной до полутора метров. Так в сарафане и скакала. Молодые парни клали жердь на две развилки, помещали ее на высоте 20 венцов и с шестом прыгали через нее» (№ 17, с. 137—138)

Истории о деде-богатыре и его сестре девке-полянице — это рассказы о людях богатырского духа, чей рот был зажат репрессиями советской власти. И хотя эти, вполне укладывающиеся в жанр предания, фольклорные истории могли бы найти себе место в опубликованных эссе Натальи Павловны Колпаковой, она этого не делает.

В процессе работы над рукописями и публикациями Колпаковой мне стало ясно, что я имею дело с одним очень интерес-

ным феноменом — рекурсивностью памяти и рефлексии. Дело в том, что в поздних изданиях своих ранних дневников она зачастую меняет свой текст, не только отказываясь от каких-то фрагментов, но и внося в него новые подробности.

Печора. 19 июля 1956 г. Оксина: «<...> “Ростков нового” в окрестностях никаких, как и былин. Одни огромные, замшелые, догнивающие пни старого. Нас это не удивляет: фольклор не может создаваться сразу за новизной, которая входит в социальное сознание, экономику, быт». (Ед. хр. 16. Перебеленная рукопись дневника, с. 36).

В публикации «За последними северными былинами» читаем под той же датой: «При нашем отъезде из Ленинграда Сектор очень просил нас как можно тщательнее фиксировать «ростки нового», которые мы встретим». За этим следует предложение о «пнях старого». Далее отредактировано так: «Нас это не удивляет: фольклор не может создаваться сразу же вслед за той новизной, которая входит в социальное сознание, в быт населения. Все это понимают. И все же наш Сектор будет опять горевать и сокрушаться... <...>. А уж мы ли не ищем!». («Дневник», с. 126).

«В любой северной деревне можно войти, сесть подле хозяйки и долго молча смотреть на ее работу, а потом уже начать разговор. Но — издали...» («Записки», с. 137).

В издании 1975 года Колпакова использует запись, сделанную 2 июля 1928 года в деревне Палащелье и вошедшую в текст 1931 года. Но в «Записках» есть пропуски. Так она опускает следующий пассаж:

«Ульяна Яковлевна, видимо совершенно забывает обо всем окружающем, в первую очередь — обо мне».

В тексте 1931 года далее следует:

«Расступаются потемневшие стены бобылей избушки — поднимаются палаты белокаменные. «Майор полковничок» выезжает на коне с царским указом — верстать в солдаты каждого третьего крестьянского сына. Три богатыря спускают жеребья на вещую реку:

Как у большого сына жеребий гогольком пловет,
Как у среднего — серой утицей.
А у меньшого — словно клюц ко дну...
(«Ветер с севера», с. 51).

В «Записках» этот фрагмент опущен. В полевой тетради Колпакова, рассказывая об этой встрече, переходит в другое временное измерение рассказа, в дпящееся нарративное настоящее, и эту стилистическую особенность она сохраняет во всех текстах. «На синем море качается одинокий дуб. Никнут ветви, омывает их бурный прибой... Ох да ты не стой-ко не стой на горе крутой

Не спущай ты дуб листьё во синё во морё. А из-за лесу поднимается грозная туча с молоньями палючими — невеста уезжает в замужество... А вдали словно облако пыли застиляет горизонт... Образы проплывают, сменяя друг друга. У высокого московского крыльца взволнованным морем гудят взбунтовавшиеся солдаты... Шумят развернутые знамена, шелестят крылами белоснежные лебеди, катятся огневые яхонты на колени этой сгорбленной старушки в полинявшем сарафане... Старческий голос приобретает такую мощь, дрожит таким невыразимым подъемом, что у меня по спине пробегает невольный холодок. Я украдкой взглядываю на певицу. Ульяна Яковлевна, застыв на месте с широко раскрытыми глазами, не видит, кажется, ничего вокруг. Или она видит? Видит то, о чем поет? Долгое время мы молчим, глубоко взволнованные» («Ветер с севера», с. 52; «Записки», с. 140).

В тексте 1931 года далее Колпакова пишет: «Кто знает, поднимется ли еще хоть раз в жизни ее угасающий дух до тех творческих высот, на которые он взлетел сейчас?» («Ветер с севера», с. 52). В издании 1975 года она изменяет эту фразу: «Кто знает, споет ли она еще раз эти песни так, как она поет сегодня» («Записки», с. 140).

«Я уже не могу записывать дальше... Я знаю, что лучшего исполнения я не услышу не только сегодня, но и вообще на Мезени, а может быть и никогда в жизни. Я ухожу из темной избушки как в тумане» («Ветер с севера», с. 54, «Записки», с. 140).

«В жизни каждого человека случаются дни, которые не забываются никогда, ни при каких обстоятельствах. Они — как те немногие лучшие бриллианты, которые, говорят, хранятся у алмазных королей в особых сейфах: не пересматриваешь, не пересчитываешь их каждую минуту заново, но в любой момент наизусть знаешь, сколько их и какие они. Вчерашний день в избушке Ульяны Яковлевны — один из таких дней» («Ветер с севера», с. 55, «Записки», с. 142).

Наиболее устойчивыми, сохраняемыми во всех вариантах оказываются именно те фрагменты записей, когда Н. П. Колпакова говорит об опыте личного переживания, о событии встречи, меняющем ее саму. Из записи 1958 г.: В Мезени Колпаковой приходится идти на край слободы, чтобы купить обещанный ей колокольчик: «Я шла домой пустыми полями и время от времени звонила в свой драгоценный колокольчик наподобие индийской прокаженной. Но трудно было удержаться. Так необыкновенно хорош был звон» (Ед. хр. 17, с. 291).

Приведу сопоставление еще одного эпизода мезенской экспедиции, описание которого вошло как в текст 1931 года, так и в публикацию 1975 года. В тексте 1931 года этот эпизод имеет заголовок — «Вязель-трава», в издании «У золотых родников» он включен в главу «Разливалась мати, вешняя вода», которая, как и

остальные главы, сохраняет структуру полевого дневника. В ней этот эпизод включен в описание двух дней — 5 и 7 июля 1928 года, проведенных Колпаковой в деревне Конещелье.

Я полностью приведу текст 1931 года (с. 55—60) и дополню его сравнением с текстом 1975 года.

Вязель-трава

Вечер весь в цветах.

Река тихо катится мимо высокого зеленого откоса. Трава влажна от росы.

За рекой догорает закат.

День был жаркий. С нагретых луговин вместе с легким туманом тянет тонкой струйкой цветочного меда. Весь луг на высоком берегу усеян бесчисленными колокольчиками, дикими гвоздиками, тмином, ромашкой, розовым клевером... А на пригорке прямо и тихо стоит вечерний лес. Он словно вздыхает тихонько и его дыхание пахнет белым дурманом.

Я сижу у окна во втором этаже просторного крестьянского дома. Здесь, в Конещелье, школы нет, и мы живем в избе.

Все куда-то разошлись, и я одна над моей работой.

В окно видно, как легкой дымкой курится цветочная поляна. С реки плывет ранняя свежесть.

Тихо...

Издали по вечернему воздуху доносятся поющие голоса. Звонкий девичий хор. Он приближается к нашей избе по боковой улице. Девушки заливаются наперебой:

Хорошо бы в лодке плыть,
Да надо подгрести.
Хорошо бы с милым жить,
Да тошно расставаться.

Меня маменька стегала
Со березки вицею,
Со березки вицею,
Да не люби милицею.

Пецку письма топила,
Не подкладывала дров,
А теперя стало жалко,
На огни жгала любов.

Не сама гармонь играет,
Гармонь надо расстегать.

Не сама девцонка любит,
Девку надо завлекать.

Пение вдруг смолкает: девушки завидели меня у окна, остановились, шепчутся... Сероглазая румяная Окулина подходит к окошку:

— Наташа, идем с нами в поля?

Конецщелье — деревня маленькая, всего 17 дворов. Частушка о грустной иронией описывает:

Конецщельская деревня —
Распроклятое селенье:
Нет ни девок, нет ни баб,
Нет молоденьких ребят.

Это, к сожалению, верно. На всю деревню насчитывается только четыре девки в возрасте невест и — увы! — один единственный парень жених. Не мудрено, что у конецщельских невест взоры обращены в другую сторону, на соседнее крупное, раскидистое Белощелье:

Белощельская деревенка
Мне на-любо любя.
Неужели в той деревне
Мне не сыщется судьба?

На все сколько-нибудь значительные праздники маленькие деревни присоединяются обычно к более крупным. Но мелкие развлечения и будничные вечерние гулянья проходят везде самостоятельно.

Мезенские девушки каждый вечер гуляют по деревне: — «на горке», если есть горка, «на реке» — если берег открывает просторную луговинку... Конецщельские девушки уходят в цветущие «поля».

Будничное вечернее гулянье несложно: берутся под руки и рядами расхаживают взад и вперед, поют продольные песни, перемежая их с частушками. Там, где девушек много, играют в шумные игры с визгом и беготней.

— Идем в поля?

Четыре девушки ведут меня на высокий зеленый пригорок. Мягкая округлость его вся в густой траве. По краю тропинки узкими кистями лиловет мышиный горошек.

— Ты в байне была сегодня? — спрашивает Окулина, когда мы все усаживаемся на вершине холма под большим кустом цветущего шиповника.

— Сегодня? Нет. Я вчера была.

— Ну, вцера — это што. А мы завсегда сегодня ходим. Завтра Иванов день.

Таня подходит к краю откоса и смотрит вниз.

— Гляньте-кось, малы девки веники спускают.

Внизу у воды — несколько маленьких бань. Пять или шесть девчурок лет 9—10, задрав сарафаны, бредут между банями по колону в воде и стараются зайти как можно глубже, в реку. В руках у них свежие веники.

— Таня, что они делают?

Девушки улыбаются.

— А те в диковинку? У нас обычай такой есть. Под Иванов день все девки в байну ходят и вениками хлещутсе. А после выйдут, в реку зайдут и веники спускают, где поглыбже. Поплывут — девка замуж выйдет сей год. Потонут — девке еще год ждать.

— И вы бросали сегодня?

— И мы. Мой-то поплыл, и Дунин, и Танин тоже, а Настин потоп. Ну, да не беда, обождет. Ей всего шешнаццать годов.

Окулина говорит это так серьезно, словно и в самом деле уплывший или потонувший веник может решить девичью судьбу.

— А после байны завсегда в поля, — подхватывает черноглазая Дуня: — сей день не просто гулянка, а за цветам ходим.

— Под Иванов день все девки по Мезени цветы рвут, — объясняет, в качестве старшей, Окулина — нарвут пуки большуци-пребольшуци. В дому в пецке высушат. На целый год они, цветы-то эти. Если кто заболет зимой, нать Ивановски цветы водой горячей облить, ровно чай, и выпить. И пройдет все. Един раз в году только и можно цветы эти рвать.

— А которые эти? Ведь, наверно, не все же вы берете, а выбираете?

Хорошенькая Настя подходит к нам с целым букетом и, опустившись на траву, начинает перебирать их и связывать в пучок.

— Вот, гляди, — говорит Окулина и берет с колен сестры бело-розовую повилику: — это — призорная трава. Она от призору.

Слово мне незнакомое.

— Призор — это глаз дурной, если сглазят тебя, — объясняют девушки: — от сглазу-то ведь все может быть. Сглаз-то всего хуже.

— А это — плакун трава.

Настя выбирает длинную красивую темнозеленую ветку.

— Плакун траву от тоски пить надо, — авторитетно говорит бойкая Таня. Окулина возражает:

— От тоски не плакун-траву, а изгон-траву.

— Цо ты, дева? От тоски плакун. А изгон-трава — от цахотки.

«Цахотка» — не та обычная легочная болезнь, которая называется этим словом в городе. Деревенская «цахотка» — всякая необъяснимая изнуряющая хворь, от которой человек чахнет.

— А которая это — «изгон-трава»?
Девушки показывают.
— И правда помогает?
— Мы-то не пробовали. А Степаниде, жонке соседской, шибко полегцало.
— Да ты забудешь все? — с сомнением говорит Окулина: — ты запиши на бумажке. У тя в городу-то таки цветы есть?
— Нет, нету.
— И полей нет?
— Близко от города нет. К нашим полям надо на поезде ехать. Девушкам не верится.
— И вязель-травы у вас нету? — спрашивает после минутного колебания Таня. Настя смущенно дергает ее за край сарафана.
— Вязель-трава? Это для чего же?
Таня смеется и кидается головой в колени Окулине.
— А как же у вас девки-то без вязель-травы живут? — доносится оттуда ее голос.
Что это за трава такая таинственная?
— Вязель-трава — это для парней, — говорит, слегка покраснев, Окулина. Эти деревенские девушки, несмотря на всю их близость к природе, в некоторых вопросах гораздо более сдержанны и застенчивы, чем горожанки.
— Как для парней? Расскажи, Окулина.
— А те што, парня какого присушить нать? — лукаво спрашивает девушка.
— Так это разве для присушки?
— Ну, да. Для присушки. Только ты, Наташа, зря не болтай.
Окулина оглядывается — не подслушивает ли где-нибудь поблизости нашу беседу их единственный кавалер? Нет, не видать. Она забирает в горсть свой широкий ситцевый сарафан и придвигается по траве ближе ко мне.
— Если те парня какого присушить нать, ты траву эту высуши, только от других цветов отдельно, обвари, и дай ему хлебнуть.
— А парни этого не знают?
— Ни, што ты! А только крепко выходит.
— Ты пробовала?
— У нас тут-то и жонихов нету, — деланно небрежно говорит Окулина: — разве Фильку кто будет привораживать? Наши жонихи в Белощельи.
— Так а разве белощельского нельзя присушить?
— Можно. Всякого можно. Вот о прошлом годе Паладья белощельска в Груниного брата влюбивши была. Достала траву, высушила и вецером к Груне. А в Белощельи-то праздник большой был. Ну, на утро и обед, и самовары были. Паладья-то и насып Митрию в цашку травы. Груня-то, сестра его, помогла. А уж о крещенья и свадьбу играли.

— А в городу-то нешто девки не присушивают? — спрашивает Дуня.

— Да как же нам без травы-то присушивать?

— Так без травы и влюбляются?

— И без травы можно, коли глянетсе, — говорит с серьезным лицом Окулина: — трава, это если парня силком приворотить нать.

Некоторое время мы молчим. Над рекой тихо стелется туман и плывет по воде за откос.

— А что это слово значит — «вязэль»-трава? — спрашиваю я.

— А кто зна?

Девушки не знают.

— Слово-то непонятное, — говорит самая развитая, Таня: — может, оно и ни к чему, а любо.

— Настунька, все цветы перебрала? — спрашивает Окулина.

— Все.

Настя обвязывает свой букет шелковистой травкой.

— Мы еще на гору в лес пойдем, — говорит Окулина; — до утра сейдень девки по лесам ходят. Пойдем с нами?

Мы спускаемся с пригорка, пересекаем ложбинку. Лес наверху, через овраг.

Над противоположным берегом червонно-золотой полоской горит закат. Ровной узорной каймой ложатся на нее зубцы хвойного леса.

Девушки уходят вперед, за цветами. Я отстаю. Я бреду по краю лесного обрыва.

Тихо струится чистая темная Мезень.

Маленькие гадальщицы давно убежали домой. Но чьи же это новые зеленые веники выплывают из-за крайней бани? Это не конецщельские.

За дымкой вечернего тумана они плывут сверху, из дальних деревень. Сегодня гадают вся Мезень.

Девушки — всюду.

И яркой сочной зеленью всюду расцветает под отцовскими кровлями девичья радость.

Никто не помнит в деревне древнего Ярилу. Но вера в неведомую силу, в радость расцвета, в счастье наплывающей судьбы так сладко благоухает в вечерних травах, струится в свежих ветвях, смеется Таниным смехом...

Может, оно и ни к чему... А любо!»

Этот текст почти полностью, с некоторыми перестановками фрагментов, вошел в издание 1975 года (с. 142—145). Но за несколькими, как мне представляется, очень важными исключениями. Колпакова убирает весь вводный эпизод, описывающий

ее собственное переживание вечера кануна Иванова дня, переключая регистр на режим хроники и этнографического описания: «Иванов день. Вчера вечером девушки пришли за мной, чтобы идти за цветами. «В поля» ходят раз в год, именно в этот вечер — чтобы собрать цветы, которые в другие дни силы не имеют» («Записки», с. 143). Она отстраняется от себя — девушки среди девушек, переживающих праздник Ивановской белой ночи. Другая купюра, очень небольшая, связанна с событиями и переменами эпохального масштаба. В тексте 1931 года, как можно видеть, «девичья радость» «сочной зеленью» расцветает «под отцовскими кровлями». Любимые дочки-подростки цвели в отцовских домах. Тех отцов к 1970-м годам уже нет, весь жизненный уклад севернорусской деревни, с девушками-хвалёнками — гордостью и радостью крестьянских большаков-отцов, уклад, свидетелем которого стала двадцатилетняя Наталья Павловна Колпакова, сгинул в прошлое.

* * *

Пользуясь возможностью публикации, приведу еще один очень яркий эпизод — «Свадьба Петрована», вошедший в текст 1931 года (с. 62—78), а в тексте 1975 года свернутый до краткого упоминания посещения свадьбы Петрована Ситникова («Записки», с. 148). Это — тот случай, когда описание, возможное для публикации в начале 1930-х годов, было уже совершенно невозможно в 1970-е годы. Не вошло оно и в комментарии к «Лирике русской свадьбы», хотя, без сомнения, оно очень многое позволяет понять относительно изменений, происходивших в фольклоре, обряде и жизненном мире мезенцев накануне начавшегося в 1930-е годы раскулачивания:

Свадьба Петрована

Бабка Филатовна, у которой я шесть часов подряд записывала песни, загадки и причиты (*так!*), на прощанье подмигнула мне хитрым глазом и сказала полушопотом:

— Завтра-то беспрременно приходи. Слышь, у Ситниковых свадьбу играть станут. Петрован-от жонитце. Невесту богату берет — с Кельцемгоры. Родня-то его про свадьбу не повещат — совестно матери-то, што Петрован в церкву-то не пойдет, в совете только спишется. А только свадьба все же будет. И стол, и угощение — все будет. Уж ты приходи.

Ситниковы — самая старая и уважаемая в Березняке семья. Говорят, что и весь-то Березняк пошел от одного из их предков, Федора Ситникова, который первый поселился на этом месте и основал деревню. В доказательство этой истории во дворе их

дома стоит деревянный памятный столб с вырезанными инициалами основателя и датой.

В настоящее время в этом большом, крепко срубленном семейном гнезде с высоким крылечком и громадной повестью живет пожилая хозяйка, ее семидесятилетний деверь и молодой Петрован, фактический хозяин, которого мать хочет поскорее женить, чтобы парень не баловался зря, а «установился» и превратился в степенного мужика.

Понятно, что женить единственного сына, представителя столь древней уважаемой семьи, матери хочется «по закону», по правилам, установленным веками. Вольнодумство безбожника Петрована сильно удручает ее.

— От людей совестно, — объясняет мне догадливая Филатовна, провожая меня по пыльной, тихой, залитой вечерним солнцем улице: — Петрован-то в городе побывал, нового насмотрелся, вот и говорит матери, што будто в церкву ходить — все обман один, и венчаться будто в церкви незачем...

Филатовна идет встречать коров и я, разговорившись с веселой умной старухой, останавливаюсь с ней у изгороди. Сама Филатовна в этой свадьбе ничуть лично не заинтересована. Она не приходится Ситниковым ни родственницей, ни свойственницей. Но с одной стороны она очень сочувствует нашей работе, а с другой — хочет похвастать перед чужим человеком невиданными мною обрядами и любопытными местными обычаями. Верхний Березник издавна славится особой ритуальностью и торжественностью своих праздников, и я обещаю притти непременно.

Записать обряд свадьбы с исчерпывающей полнотой одному человеку невозможно. Кроме основного действия — движения, речей, обрядов, выполняемых главными героями дня, надо не упустить множество мелочей — надо описать костюмы, убранство избы, записать напевы свадебных песен. В крайнем случае, при очень большой приткости, всю эту работу могут выполнить двое. И вот на следующий день мы идем в Березник вдвоем с Зиной.

Утро свежее, росистое, солнечное.

Предусмотрительная Филатовна предупредила меня, что раньше полудня молодые в деревню не поспеют. Но мы нарочно приходим пораньше, чтобы видеть все приготовления к их встрече.

Улицы, широко залитые утренним солнцем, тихи и пустынно. Праздник. Деревня отдыхает. Нигде не заметно никакого движения. Сегодня Петров день.

В пыли на дороге купаются куры: рядом, на пригорке, трое белокурых малышей мастерят что-то из щепочек и травы. Они провожают нас вопросительным взглядом.

Мы прежде всего заходим к Филатовне.

— Ну, рано же залётали, лебеди белые, — встречает она нас нараспев. В обыкновенном ласковом разговоре Филатовна, бывшая профессиональная плакальщица, постоянно сбивается на речитативный приметный стиль. Но сегодня мы пришли за делом, и она быстро переходит на деловой тон.

— Вишь ты, Петрован-от с братаном еще с вечера в Кельце-мгору уехали. Остановились там у «родителей», а утром поедут с невестой в Смоленец списываться. Сельсовет-то в Смоленце. А уж отсюда сюды, домой.

— А как же, Настасья Филатовна, богомолье, рукобитье у невесты — было это все?

Филатовна машет рукой.

— Цорга ли у их было, — ворчливо произносит она: — какой нонь уговор да богомолье? Прежь-то жонихи приедут к родителям, да не раз, не два, а по три разу езживали, да выспрашивали, а родители доцку, не спросись выводили, да по рукам хлопали. А нонь девка и сама к жониху выпрыгнет — я, мол, сама свое согласие даю. Нешто так годится? Петрованову-то невесту хвалят... Да, вишь, одна у отца-то, мати-то померла, старши сестры давно взамуж ушли, вот отец-то и добаловал. Сама с Петрованом где ни на есть, а сговорилась. Нравная! Так им на сговоре и рядиться-то не об чем было: приехали жонихи, бутылку поставили, посидели, поговорили и уехали. Все уж заране промеж ими порешено было.

Нас начинает интересоваться «нравная» невеста.

— Ну, а рукобитье какое было?

Филатовна всеведуща.

— И не говори, лебедь белая! Мать-то Петрована сказывала — и не плакала невеста, и не выла, и в байну иттить не хотела с подругами, и никакого-то устава не соблюдала. Время, говорит, для всего этого прошло.

Такое вырождение предварительной части свадебного обряда — результат вполне естественной эволюции. Рукобитье, расплетанье косы, обрядовая баня, девишник, прощанье с родными — все это, под влиянием цивилизации, постепенно бледнеет и отмирает само собой. Пока остается в силе и празднуется в полном объеме только самый торжественный момент — свадебный пир у молодого после венца (или после «списыванья», смотря по тому, церковная или гражданская свадьба), — т.е. тот момент, который до сих пор сохраняется и в городе.

— Да оны еще не скоро, — заключает свои пояснения Филатовна: пока имение уложат да отправят, пока из совету вернуться — долго вам их ж дать-то.

— Что это такое «имение»?

— Придано, которо за невестой дают. У нас оно имение называется.

Сельсовет верстах в двадцати от Березняка. Пока жених, невеста и «божатка», крестная мать невесты, ездят «списываться», старшие родственницы погружают в лодку сундуки с приданным и двигаются вверх по реке из Кельчемгоры в Березник. Но пока ни их, ни молодых, еще не видно.

Мы выходим от Филатовны и идем по деревенской улице.

Вот и высокий старинный дом с узорными наличниками над окнами. Мы поднимаемся на крылечко, входим. Если мы почувствуем, что наш приход — некстати, мы уйдем. Но нам хочется познакомиться с семьей Петрована.

Полутемные длинные сени хозяйственно уставлены и увешаны различным домашним инвентарем. Тут и расписные прялки с клоками кудели, и коробки, и решота, и кадушки, и берестяные туески, в которых мезенцы хранят молоко и сметану. На гвоздиках с потолка свешиваются пучки каких-то трав, сухие веники. В углу прислонена дуга и через нее перекинута вожжи.

Хозяйка в передней горнице. Милое усталое лицо с сетью мелких морщинок. Она видит нас в первый раз, но улыбается нам так приветливо, что с нас сразу спадает вся неловкость.

— Здравствуйте, Анна Ивановна.

Филатовна заранее сообщила нам имена хозяев. Крестьяне любят, чтобы их, как в песне поется, «звеличали по извотцине».

Анна Ивановна кивает нам из-за печки:

— Приходите, приходите!

Это — обычное мезенское приветствие. Ободренные им, мы присаживаемся на лавку и мало по малу вступаем с хозяйкой в беседу.

Анна Ивановна нисколько не принаряжена и ничуть не напоминает своим видом о приближающейся свадьбе. Будничный сарафан, полинялый красный повойник, передник из домотканой пестряди. А в глазах поочередно сменяются и радость, и забота, и тревога.

Мезенцы — народ сдержанный, немногословный. Анна Ивановна погружена в хозяйственные хлопоты, искоса улыбается нам от своих горшков и ухватов, а руки ее так и скользят, выполняя привычную работу. Ловкими движениями перекладывает она со стола в закуток испеченные хлебы и пироги, передвигает в печи ухватом чугуны с кашей и рыбой, гремит кочергой. И все это быстро, четко, уверенно. Мы невольно любимся живой старушкой.

— Что это вы, Анна Иванова, так хлопочете?

Мы закидываем эту удочку осторожно, но Анна Ивановна охотно на нее попадает. Что ни говорите, а естественная радость и гордость матери и хозяйки светится и прорывается невольно. Анне Ивановне хочется немножко похвастать перед нами. С минуты она молчит и, не глядя на нас, усиленно гремит горшками.

— Да вот... свадьба ведь у нас сейдень... — сдержанно говорит она наконец, все еще не поднимая головы от стряпни.

— Что ж, Анна Иванова, дело хорошее. Поздравляем вас!

— И верно, што хорошее. Да вот... без церкви. Вот беда!

Самое страшное сказано.

— Какая же беда, Анна Ивановна? Вон, в городе-то и давно уж без церкви женятся, а как хорошо иные живут потом.

Добрые глаза старушки светлеют, морщинки распускаются в улыбку. Она смотрит на нас уже с полным доверием: не осудили, не засмеяли. Или и в самом деле ей напрасно было так уж «от людей совестно» за «беззаконную» свадьбу?

Мы глубоко тронуты этой бесхитростной, нежной, сокрушенной душой матери. Что и говорить, конечно, она рада, она счастлива счастьем своего Петрованушки, но старые традиции еще крепко опутывают и смущают ее материнскую, такую понятную, такую светлую и естественную радость.

Мы пытаемся убедить, успокоить ее. Если Анна Ивановна и не вполне убеждена, то во всяком случае смущение ее сильно поколеблено: авторитет городских людей все-таки кое-что значит. Видя, что мы ей сочувствуем и ничуть не собираемся подымать на смех ее безбожное детище, она с гордой и радостной улыбкой ведет нас на поветь.

— Поглядите, как горницу молодым готовлю.

Оглядев и похвалив приготовленную для молодых клеть, мы выходим на улицу.

— После-то заходите, — кричит вдогонку нам Анна Ивановна.

— Спасибо, непременно придем потом. Пока по деревне прогуляем.

На пригорке у берегового обрыва — громкие голоса, споры. Тут расположились на бревнышках две группы парней и девушек.

— А я те говорю — сваталсе. Сваталсе!

Припомаженный парень в новом пиджаке и в кепке наступает с воинственным видом на девуку в пышном сарафане и старинных смоляных янтарях.

— Отвяжись, лешой! Не сваталсе! — пронзительно визжит девка, увертываясь от парня.

— Нет, сваталсе!

Тут же в толпе девушек я различаю и знакомых: вон Лида Кычина. Вчера я долго беседовала с ее матерью о Березинских гуляньях и съезжих праздниках, а от самой Лиды записывала частушки.

Лида теснится к подругам и освобождает нам местечко на краю бревна.

— Эта оны за Петрована лютуют, — объясняют нам девушки: — говорят парни, будто Петрован на Паладье Грибановой сваталсе, да она за его не пошла. А девки говорят — не сваталсе.

Оказывается, в Березняке, как и в некоторых других местах на Мезени, до сих пор существует своеобразный обычай: при встрече молодых от венца молодежь и бабы собираются у околицы и поют одну из двух песен. Если парень предварительно сватался на своей деревне, но получил отказ — местные невесты чувствуют себя удовлетворенными и приветствуют молодых песней почетной и радостной. Если же парень «обошел» свою деревню и прямо посватался на стороне — его «молодку» встречают на-смешками и упреками.

Девушки не успевают кончить своих споров с парнями, как мимо нас пробегают бегом две уже немолодые бабы.

— Едут, едут!

Сверкая пятками, мчатся к околице ребяташки. В раскрытых окнах появляются головы стариков и старух. Мы, вместе с девушками, бежим вслед за бабами.

«Уж вы соколы, соколы, соколá перелетные,
Уж вы, где, соколы, лётали?..
Уж мы лётали, соколы, мы с горы да мы на гору...»

Хор звучит громко, но нестройно. Бабы поют на бегу.

У околицы дорога загорожена длинными жердями: молодежь со смехом и спорами требует у жениха «выкупа», т.е. горсти карамелей или пряников.

По ту сторону околицы стоит двухколесный парный кабриолет в котором сидят трое. С краю — белокурый Петрован в красной рубашке с выпущенным на лоб завитым коком. Он сам правит. С другого края — разряженная крестная мать. Между ними — «молодка».

Она разодета и разукрашена очень пестро и пышно. Красное «гарнитуровое» платье, широкий зеленый шелковый пояс, на плечах — громадный старинный шелковый платок, отливающийся попеременно желтым и синим. На яркой зеленой луговине под горячим солнцем молодка издали переливается всеми цветами радуги.

На голове у нее — ярко оранжевые «кусты» — шелковый платок, сложенный узкой лентой и завязанный вокруг головы так, что концы в виде бабочки торчат надо лбом. Это традиционный головной убор молодых мезенок во всех торжественных случаях жизни.

Под «кустами» — блестящие черные волосы, красивое молодое личико. Петрованова молодка хороша, очень хороша. Уже не в первый раз встречаем мы на Мезени среди русоволосых, сероглазых, спокойных баб — эти живые, чуть приподнятые в уголках глаза, яркий румянец на смуглых щеках, блестящие смоляные косы. Это — несомненное, хотя, может быть, и отдаленное, на-

следство соседей зырян. Хотя, как правило, мезенцы и не рождаются с окружающими их инородцами, но в каждое поколение вкрадывается случайно один-другой брак с черноглазыми зырянками. И долгое время потом переходят из поколения в поколение смуглые щеки и вишневые губы.

— Да ну, ребята, чего вы, ей богу. Довольно, пропустите!

Брошенная Петрованом горсть карамелей широко расчищает путь. Кабриолет едет, подпрыгивая, к старому дому. Бабы, ребята и все, ожидавшие у околицы, бегут укороченным путем через чужие дворы и переулки, чтобы присутствовать при встрече молодых в родном гнезде.

У высокого крылечка толпа. Двери в дом заперты. Это — новая проделка озорных парней.

Молодой долго стучит в дверь кулаками, кричит... Молодка с опущенными глазами стоит подле него и непрерывно отвешивает медленные поклоны на все стороны. Старухи, глядя на нее, вслух высказывают свои замечания.

— Баска́... Порáто баска́ молодка-ти.

— Не гóрда... Другá-то в чужой деревне пёрва и не поклонитца... Видать — стариков уважать будет.

Дверь приотворяется. В нее едва успевают проскользнуть молодые и двое-трое из зрителей. Шумная толпа, галдя и остро-слова, остается на дворе под окнами.

Анна Ивановна, принаряженная, взволнованная, молча поднимает над молодыми два хлеба. Каждый завернут в овечью шкуру. Низко сгибаясь под этими хлебами, молодые проходят по настланной соломе в горницу и становятся за стол.

Петрован бодрится и усмехается. Давно, кажется, признано, что на каждой свадьбе роль жениха самая затруднительная и невыгодная. Но этот жених держится молодцом.

— Ну, да што тут? Да скоро ли? — то и дело спрашивает он. Видимо, все эти ритуальные церемонии благословения его только стесняют.

В дверях толпится любопытная молодежь. Анна Ивановна кладет перед молодыми хлеба и ставит деревянную солонку. Петрован, наконец, не выдерживает.

— Да пойдём в горницу, што ли?

В соседней небольшой горнице стол накрыт чистой скатертью; на столе — четверть с вином, блюдо рыбы, каша. Это — «малый стол». За него садятся только молодые и ближайшая родня невесты. Родня молодого прислуживает и суетится вокруг.

У молодки под скинутым платком оказывается на голове яркий красный бархатный повойник, вышитый золотом; на ногах, поверх высоких черных башмаков — новенькие блестящие калоши. Толпа, напиральная из сеней, глядит на молодку во все глаза и перешоптывается в восхищении.

— С законным браком! Сватьяюшка, тебе с молодой!

Родственники пьют за молодых, обнимают с Анной Ивановной. Неожиданный оглушительный ружейный залп под самыми окнами заставляет всех подпрыгнуть на месте. Это услужливые товарищи чествуют Петрована на дворе.

Непостижимым образом около нас с Леной в толпе оказывается Филатовна.

— Ты гляди, — шепчет она мне, указывая на стол: — сейчас жениховы молодкиных подцуют, а после молодкины станут. А «божатка»-то — старша сестра невестина. Матери-то у ней нету...

Новый залп прерывает эти пояснения. Стекла в одном из окон разлетаются вдребезги. Со двора врываются в горницу громкие голоса и звуки гармоники.

— Будет, черти! Все стекла перебьете! — кричит Петрован, выглядывая на улицу. Парни отвечают хохотом, но стрельба прекращается.

В горницу, прихрамывая и пошатываясь, входит древний седовласый дед. Это — дядя Петрована, тот самый, который делает деревянных «петушков» с голубиными крыльями. Дядя плохо видит, глуховат, но на лице его глубокое умиление.

— Детушки, детушки, — бормочет он, обнимая племянника: — любите друг друга... уважайте!

— Да все ли в той избе приготовлено? — спрашивает Петрован у матери. Пока в этой небольшой горнице идет «малой стол», за стеной, в большой избе расставляют и накрывают длинные столы, а братья молодки ходят по деревне и приглашают всех родных на предстоящий пир.

— Обождите еще малость, — торопливо шепчет Анна Ивановна и исчезает за дверью.

— Гляньте-кось, «имение» везут, — выкрикивает кто-то из баб. Все кидаются к окнам.

Действительно, по реке издали двигаются лодки с сундуками. Народ высыпает на улицу поглазеть, как будут выгружаться.

Новый залп обозначает, что сундуки втаскивают в дом.

Несколько вспотевших, обмотанных шелковыми платками баб в сопровождении всей толпы втаскивают в горницу и ставят у печки сундук, еще сундук, еще три сундука, сундучок поменьше, корзинку, коробейку, наваливают узлы с шубами, узлы с постелью. Молодка глядит на все это добро с кажущимся равнодушием, но не трудно угадать, как приятны ей возгласы одобрения гледеющей толпы. Бабы, привезшие «имение», целуются с молодой и «божаткой», раздеваются, рассказывают как доехали.

Тем временем в сенях уже кипят сразу три громадных медных самовара, а в соседней горнице вокруг стола постепенно собираются разряженные «родители». На столе — стаканы и чашки, тарелки с «закусками» — пряниками, карамелью, баранками.

Женихова родня расставляет стаканы и наливает чай. Но гости ни к чему не прикасаются: «приездный стол» начинается только при появлении молодых.

В течение свадебного пира молодка должна несколько раз переодеться. С одной стороны каждое переодевание знаменует переход к следующему обрядовому моменту. С другой — это способ показать привезенные наряды.

Хорошенькая Анна Николаевна выходит к «приездному столу» в новом зеленом шелковом платье. Широкая юбка висит до пят. Черное кружево двумя вертикальными полосами спускается по корсажу. Личико молодки торжественно и неподвижно. Проходя с мужем за стол к своему месту, она медленно низко кланяется, не поднимая глаз. Кланяется она и встав за стол. Кланяется, поднимаясь с места, когда ей подают на подносе первую рюмку водки. Толпа любит эти поклоны и вслух высказывает свои мнения о молодке.

Языки развязываются живо. Гости принимаются за стаканчики, за чай, за «закуски».

В красном углу уже слышны громкие повышенные голоса — это старший брат молодки, начавший праздновать свадьбу сестры с самого раннего утра, сейчас уже с трудом отличает новобрачных от собственного отца и пытается что-то рассказать, показать... Соседи удерживают его за руки.

— Да я што... Да я ницого... — бормочет подвыпивший «родитель».

Вдоль по стенке пышными разноцветными розами сидят бабы — «сваты», женская родня молодки. Они оправляют на плечах тяжелые шелковые «шалюшки» и то и дело отирают под нарядными повойниками мокрые лбы.

— Сватыюшка! Выкушай, молодым здоровья прибавишь.

Тысяцкий поочередно пристаёт к бабам с рюмочками. Бабы жеманятся, отнекиваются, но в конце концов пьют почти наравне со своими мужьями.

В избе не продохнуть. Пространство от двери до стола вплотную набито любопытными. Тут бабы и девки со всего Березника. Стоят, сложив руки на животах, и любят стол и разряженными гостями. Брат молодки некоторое время смотрит в их толпу и пытается что-то сказать, но у него выходит плохо.

— Песнями... песнями... повеличать бы, — произносит он наконец. Бабы перешоптываются, переглядываются и неожиданно, как застоявшиеся кони, срываются с места.

«Што хитёр да мудёр первообращной князь,
Што хитрей да мудрей его не было нигде.
Ей ходил-то в торги, да закупал шелки.
Шелк и разные да разноцветные...»

За «приездным столом» первая песня всегда поется в честь молодых. «Первобрацной князь» плетет из шелков колыбельку и вешает ее против окна своей суженой. Колыбелька готова, — основа для благополучного продолжения рода положена. А готова ли невеста к многотрудной роли деревенской хозяйки и матери?

«Да уж ты што же, моя сужена, посуживашь.
Уж ты што же, моя ряжена, поряживашь?»

Едва песня доходит до «суженой», как Анна Николаевна с потупленными глазами поднимается с места, три раза целует мужа и низко кланяется поющим бабам. А те так и заливаются:

«Я во горницу ступала молодежию,
А еще свекру и свекрови во заменушку,
Уж я все—то семье да во невестушки...»

А старушка свекровь ничего не видит и не слышит. Остановившись у самовара — ей и присесть некогда, — затуманенными от умиленных слез глазами смотрит она на молодую пару.

Сейчас в избе Анна Ивановна — самое незаметное лицо. Она суетится, подает чай, бегаёт в сени присмотреть за самоварами.

А когда вечером разойдутся гости, и молодые уйдут в приготовленную им клеть, она останется одна перед старыми потемневшими складнями поморского литья, — сколько молитв перешепчут тогда ее поблекшие губы о том, чтобы красоточка-молодка и вправду стала заменой ей в этом родовом гнезде.

Вторая песня по чину полагается тысяцкому, крестному отцу жениха и главному заправиле всего праздника. И тысяцкого славят долго и охотно.

«Тысяцкой — большой цоловек,
И да на тысяцком шуба сорока соболей...
Где-ка тысяцкой сидит — там ненадобна свеща»...

Песня описывает подробно и наряд, и внешность воображаемого песенного тысяцкого. А настоящий тысяцкий сидит с развалкой за столом, поглаживает русую бороду и крикает от удовольствия. Он уже плохо понимает слова песни, и мало похож он на свещу, озаряющую свадебный пир, но ведь на то и песня, чтобы украшать и дополнять все, недостающее в действительности.

«Приездной» стол кончен. И молодые, и гости на некоторое время расходятся. Кто толпится в сенях, кто выходит, пошатываясь, на двор, разогнать свежим воздухом винные пары в голове. Но никто далеко не уходит: до сих пор было только вступление, а настоящее торжество еще и не начиналось.

Но вот гости снова начинают стягиваться в избу. Когда мы пытаемся пробраться вперед, нам уже трудно протолкаться. Народу столько, что дышать почти невозможно.

— Филатовна, да ведь мы так ничего не увидим!

Сметливая Филатовна не стратег, а тактик.

— А вы сигайте, лебеди белые, на печьку, — не задумываясь, советует она и сама подсаживает нас на приступочку. Бабы кругом смеются и поддерживают Филатовну:

— И верно, девушки, сигайте.

— А то как же — за тем ехали, да не увидеть...

— Юбки-ти не прожгите!

На печке уже полно: туда забрались едва ли не все ребятишки, имеющиеся в Березняке. Мы пристраиваемся посередине, как-раз над толпой. Отсюда нам все видно, как на ладони, но... горе нам! Расписную печьку с утра вытопили по-свадебному, испекли в ней кучу пирогов, наварили каши, похлебки, рыбы... Печка накалена, как сковорода, на которой, судя по изображению в местной часовне, поджаривают в аду грешников. И все-таки мы остаемся на печке, потому что только отсюда мы увидим и услышим все до последнего слова.

Бабы ежеминутно протискиваются к приступке и дергают нас за ноги.

— Ты ужо, как выйдут, наряд-то молодкин спиши, — (т.е. срисуй) — советует одна.

— Не забудь песни...

— Вот ужо полюбуйтесь, как молодка станет «новый дом обряжать».

Напоминают, предупреждают, обращают наше внимание на множество мелких деталей. Наша работа вызывает неподдельное участие. Кроме того, бабам лестно, что в далеком городе прослышат про их «серые» обряды и обычаи. А мы сидим на адской печке и мысленно призываем всех художников города полюбоваться этими чудесными русобородыми подвыпившими физиономиями, этими богатыми прабабушкиными шелками, этими красочными радужными переливами, играющими вокруг нас по всей избе...

Внезапно давка в дверях усиливается. Все жмутся к печке, к стенам, освобождая середину избы. С большого стола давно убрана вся посуда и угощение, снята и скатерть. К этому пустому обнаженному столу движется от дверей торжественная процессия.

«Божатка» и посаженная мать выводят молодых.

Анна Николаевна опять в новом наряде: на ней желтое атласное платье и поверх алого бархатного повойника — белый шелковый платок. В толпе проносится шопот восхищения. Молодка, действительно, картинно хороша. Но лицо ее по-прежнему строго и непроницаемо: молодая хозяйка идет обряжать свой новый дом.

Толпа затихает. Множество глаз впивается в любопытное зрелище. Это один из самых древних Мезенских обрядов на свадьбе, который теперь не везде уж и выполняется.

«Божатка» и посаженная мать молодки несут целый ворох сложенных полотенец, поверх которых лежат две больших скатерти. Все это — рукоделие самой молодки. Анна Николаевна подходит к столу, кланяется ему трижды в пояс и накрывает его скатертью, а на скатерть ставит бутылку с домашним квасом; так как стол очень велик, то молодка, снова трижды поклонившись накрытому концу стола, идет на противоположный край и там повторяет всю церемонию заново.

«Сватья дородна, дородна,
Олена Степановна породна,
По виноградию ходила, гуляла.
Сладко вешанье щепала, щепала, ломала.
На серебряну тарелочку клала,
Кнезю на стол подавала:
— Поешьте, поешьте-ка, гости.
От сватьи гостинцы.
Гостинцы, гостинцы, подарки».

Девки и бабы гремящим хором запевают эту песню сразу, едва молодка отходит от накрытого стола. Это — припеванье поочередно всех женщин из родни молодки. Хор поет эту песню семь, восемь раз подряд, не останавливаясь. Песня заполняет избу, вырывается на двор, гремит по реке.

Под это громко торжественное пение Петрован направляется к красному углу. В руках у него гвозди и молоток. Он обходит стены и вбивает в них длинные гвозди. Молодка идет за ним и, трижды поклонившись каждому вбитому гвоздю, вешает на гвозди полотенца с вышитыми концами.

Новый дом «обряжен». Старая мать Петрована начинает немедленно накрывать стол к «почестнам».

Бывают такие высохшие жучки: снаружи все, как у живого, а чуть подавишь пальцем — хрупкое тельце само распадается в пыль. Так и многое в обряде.

В былые времена молодые, прежде чем выйти к этой заключительной части пира, часа два оставались в клети и затем, «разбуженные» дружками, выходили к гостям. Но теперь истинное значение и этого момента и его названия уже давно забыты. Осталась только хрупкая форма, которая выдерживается механически. Повинуясь вековому обычаю, молодые выбирают «рушалника», который должен разрезать традиционную жареную тетерьку или утку. Давно уже ни уток, ни тетерек на мезенских свадьбах не водится, и «рушалнику» нечего «рушить», так как гости за свадеб-

ным столом угощаются преимущественно похлебкой и кашей. Но по традиции ему вешается на шею полотенце и дается в руку нож.

Остается только одна застывшая, опустевшая внутри форма. А такой обряд разрушить уже легко: достаточно иногда легкого нажима извне, чтобы целый ряд тех или иных обрядов и поверий после многих лет существования вдруг рассыпался во прах. Современное вырождение обрядовой жизни в деревне приготавлилось длинными десятками предыдущих лет. Наша эпоха только подтолкнула назревший кризис.

Бах! Вылетает еще одно окно, это парни поздравляют молодых с началом «почестного» пира. Петрован хозяйским глазом оценивает убытки и сердится. Но громко выругаться мешает торжественность момента. Он только молча грозит украдкой в разбитое окно кулаком.

Гости давно уже уселись вокруг заново накрытого стола. Лица у всех раскрасневшиеся, потные. Слипшиеся волосы растрепаны. В красном углу кто-то начинает буянить.

Бабы скидывают тяжелые «шалюшки» и обмахиваются белыми платочками. Хмель давно уже качает их головы. Обнявшись и покачиваясь, приезжие «сваты» затягивают нестройными голосами:

«Уж мы сядем-ко, братцы, во единой круг,
Во единой круг, да на зеленой луг...»

Им дела нет до того, что вплотную у стола стоит местный хор, который в десятый раз, не закрывая рта, славит и молодых и тысяцкого, и каждую сватью по очереди. Они уже не слушают. Два громких хора сливаются над «почестным» столом в хриплую какофонию...

Под потолком плывет удушливый сизый воздух. Преобладающие части его химического состава — табачный дым, водочные пары и невообразимый, недоступный никакой городской фантазии аромат заквашенной рыбы...

Сквозь сизый воздух — у стола радужные молодые. У нас уже сливаются в глазах зеленая юбка, желтая кофта молодки, красный пояс и алая рубашка Петрована. Молодые берут с приготовленного подноса стакан, наполняют водкой и подносят по чину каждому гостю, начиная с Анны Ивановны, которой молодка при этом кланяется в ноги.

Каждый гость обязан выпить стакан до дна и положить в него деньги. Кладут разное от медяков до бумажного червонца. Для склада всех этих «отдарков» подле молодых поставлена особая женка с деревянной чашей в руках.

Отец и брат молодки давно уже потеряли всякую способность понимать что бы то ни было и плачут, обнявшись, в красном углу.

Хор в двадцатый раз затягивает величальную песню, но какую — разобрать уже невозможно. Величанье перебито и заглушено визгливым пением «сватей» за столом. Сваты, не выдержав, изливают душу в частушках:

Нонце замуж итти —
Не надо венцаться.
В исполком только зайти,
В книжке расписаться.
Как у нас-от в сельсовете
Приколочена доска:
«Девок много, робят мало,
Одоляет нас тоска».

Свадебный пир переходит в сплошной гул, в стон. В сизом дыму мелькают отдельные фигуры. Они встают, шатаются и, обессиленные, валятся на лавку. Молодка, еще раз переодетая в ярко-оранжевое платье, уже ничего не соображает и не видит, как приходит черед ее родни угощать семью молодого и как ее посаженная мать придвигает Петровану глиняную чашку с привезенными из Кельчемгоры блинами.

Ох, пить будём,
И гулять будём,
А смерть придет —
Помирать будём!

Толпа с шумом и гамом валит на поветь. Некоторые остаются в избе — они лежат врасяжку на лавках и на полу. А те, которые еще способны держаться на ногах, тесным кольцом обступают парней и баб, отплясывающих под залихватскую гармонь излюбленную мезенскую «кандрель». Постепенно в пляс втягиваются все присутствующие. Только тысяцкий, который давно уже забыл, что ему надлежит светить свечей, лезет с кулаками на гармониста и бормочет нечто такое, отчего его спешно уволакивают под руки на сеновал.

Ночь. Над нашими головами тихо шелестят березы.

Мы быстрым шагом возвращаемся домой. Все глуше и глуше замирают вдали пьяные голоса и визгливые стоны на Ситнивской повети.

Мы с жадностью вдыхаем лесную свежесть, еще не остывший аромат теплой смолы, душистый туман, плывущий дымкой над цветущим лугом, — мы всеми силами пытаемся перебить преследующий нас тошнотворный запах заквашенной рыбы...

С содроганием вспоминаем мы его и на следующее утро когда возвращаемся в Березник для записи утренних обрядов.

У самой околицы нам попадается веселая яркая процессия.

Впереди — тысяцкий. Он приплясывает и умудряется на ходу управляться с четвертной и стаканом, который он наливает и передает своим спутникам поочередно. За ним — дружка с гармонью в руках. За дружкой в ряд — шесть «свастей», одна другой пышнее и цветистее. Желтые, красные, синие и зеленые оттенки шелков так переливаются на солнце, что глазами больно еще издали.

«Сваты» держат друг друга под руки и во все горло распевают частушки.

За «свастями» выступают молодые. Они идут в обнимку и, кажется, видят только друг друга. Мы не хотим им мешать и отходим в сторону, но шествие направляется прямо на нас. Здравуемся, еще раз поздравляем всю компанию.

— Ну, как, дивились, поди, вецор-то? — несколько застенчиво спрашивает Петрован. Все таки-люди чужие, городские.

— Дивились, Петр Михайлович, а еще больше любовались.

— Ой, да пошто вы?

Сваты и молодка смеются. Им и странно, и лестно: на что же было любоваться вчера горожанами?

— А нешто у вас в городе по другому?

Пока мои товарищи объясняются на эту тему, хорошенькая бойка «божатка» отводит меня в сторону.

— А ты вецор все списала? Успела? — спрашивает она и дополняет различными подробностями все то, что я перед свадьбой слышала от Филатовны.

— В избу заходите, милости просим, — приглашает Петрован. Шествие направляется дальше. Свадьба гуляет па деревне еще долго. А мы заходим в избу и застаем Анну Ивановну над раскрытым сундуком. В руках у нее красиво вышитый «стан», т. е. рубашка, которую мезенки носят под сарафаном.

— С молодыми, Анна Ивановна.

Анна Ивановна усаживает нас на лавку и не без гордости показывает подарок.

— Вот какá у нас молодка-ти рукодельна!

По Мезенским обычаям молодка в первое утро после свадьбы одаряет всю новую родню обновками собственной работы, причем лучший подарок всегда преподносится свекрови. Мы хвалим искусно расшитый «стан».

— Вот то-то и дело, Анна Ивановна. Рукодельная, да, говорят, хозяйка хорошая. Сбережет вам вашего Петра Михайловича.

На лице старушки улыбка. Свадьбу отпраздновали весело, памятно. Молодку хвалят и свои, и чужие... А все-таки что-то тревожит бедную свекровь. Но она молчит.

И только провожая нас, она останавливается в сенях и, притворив дверь, шепчет смущенно:

— Да, только одно вот — как же это без церкви? Ведь беззаконие это... Аль уж не беда?

* * *

Аннотация: Исследуемое фольклористом пространство Русского Севера наполнено предметами, связанными в смысловые отношения мало ему известные, тела путешественников привыкли к иным телесным техникам, их жизненный мир, несмотря на кажущуюся близость языка, существенно отличается от того, с которым они соприкасаются в дороге. И поэтому открывающееся пространство становится активной силой, во-первых, обнаруживающей структуры внутреннего опыта наблюдателей и, во-вторых, изменяющей их. Феноменология полевого опыта рассматривается на материале полевых записей Натальи Павловны Колпаковой.

Ключевые слова: феноменология полевого опыта, дневники фольклориста, Н. П. Колпакова, исследования севернорусской традиции в советское время.

Abstract: The space of the Russian North, explored by the folklorist, is filled with objects connected with little known to him in the semantic relationships, bodies of travelers are accustomed to other bodily techniques, their life world, despite the apparent closeness of the language, is significantly different from that with which they come in contact on the road. And so the opening space becomes an active force, first, revealing the structures of the internal experience of observers and, secondly, changing them. Phenomenology of field experience is considered on the basis of the material of the field records of Natalia Pavlovna Kolpakova.

Keywords: phenomenology of fieldwork experience, records of folklorist, N. P. Kolpakova, studies of Russian North Tradition in Soviet Times.